

ПАМЯТИ МИСТЕРА МЕМОРИ

Было ли время, когда я не знала бы мистера Картона (настоящее имя мистера Мемори)? Кажется, не было. Кажется, я его знала еще до того, как узнала о нем, даже раньше. Знала, как он сидит – нога за ногу, горбась. Знала, как ходит – словно решая на ходу, куда ли идет. Знала, как он говорит – неохотно, но кстати и к месту. Знала, как смотрит – прищурясь, словно припоминая того, с кем накануне еще обсуждал прошедшую сессию.

Картон – адвокат в королевском суде, из неудачливых. Ни одно громкое дело не связано с ним, в отличие от его дружка и коллеги Страйвера. Тот знаменитость, величина, лев от адвокатуры. Острые на язык судейские именуют Картона (за глаза, разумеется) шакалом при льве. Что у них общего и почему эти двое рядом – трудно понять. Между тем общее есть. У шакала и льва общее прошлое – Картон и Страйвер однокашники, знают друг друга с детства – и общая, одна на двоих слабость: любовь к бутылке.

Есть и еще кое-что. Когда они наедине и никто их не слышит, Страйвер зовет Картона не иначе как мистером Мемори (мистером Память). Картон же Страйвера не называет никак и вообще – крайне редко к нему обращается. Когда ночами он стряпает для ненасытного льва очередное острое блюдо – перелопачивает кипы бумаг, готовя к разбирательству то или иное из дел, порученных Страйверу, – вряд ли он помнит о существовании этого крупного зверя. Сидни Картон, или же мистер Мемори, мистер Память, адвокат милостью Божьей, занят своим делом.

Обмотав голову смоченным в ледяной воде полотенцем, всматривается он привычно в черноту очередного злодейства. Перебирает – неторопливо, зорко, как часовщик, – строку за строкой, деталь за деталью. Страйвер тем временем возлежит на диване с бутылкой в обнимку и рассуждает о том о сем, то засыпая, то просыпаясь.

Мемори-Картон не слыша меняет нагревшееся полотенце. Дело изучено. Теперь черед настоящей работе – ждать. Ждать, пока в этом словесном завале, этой спрессованной, спекшейся массе правды и лжи не обозначится – слабым, затем все более ровным, надежным свечением – точка смысла.

Страйвер давно отключился, но храп уснувшего льва шакалу не помеха. Ночь на исходе. Бутылка, стоявшая прямо на груди бумаг, пуста. Но и блюдо готово. И оно превосходно – как все, к чему притронулся Мемори-Картон. Обстоятельства рассортированы – важные к важным; означен мотив. Цепь доказательств прочна, как гибкая сталь: ни одно звено не упадет, не погнется на перекрестных допросах.

Когда пробудившийся лев приступит к трапезе – начнет поглощать безупречно ясные тезисы дела, в котором он, Страйвер, завяз накануне по самые уши, – он, как всегда, возопит: «Господи, Мемори, ты же гений!» Картон привычно пожмет плечами и отправится восвояси, отсыпаться после бессонной ночи.

Сидни Картон с его пронзительно ясным умом и вправду любимец Фемиды. Но важнее другое: он из тех редких и малозаметных людей, которым дано чувствовать зло. Это такая же точно особенность, или способность, как абсолютный слух или умение распознавать водяную жилу под толщей земли. Гордиться тут в принципе нечем, и Картон ничуть не гордился своим нерадостным даром. Вряд ли он вообще думал о нем - как и о том, почему криминальные головоломки, над которыми бились и ничего не добились коллеги по цеху, всякий раз поддаются ему.

А разгадка была на виду – в полном смысле этого слова. Там, где судейское око искало прежде всего широкую, прочную раму здравого смысла, куда вставлялась картина злодейства, Мемори-Картон видел зло как оно есть. Видел и обонял, потому что у зла были запах и цвет. Кислую вонь властолюбия нельзя было спутать ни с чем. Жадность пахла старой едой и была такого же цвета. От обесцвеченной завистью злобы першило в горле и слезились глаза.

Иногда же зло проступало как сыпь на исписанной клерками плотной судейской бумаге. Там, где преступник пытался замазать следы, увести следствие в сторону, - жирная сыпь становилась гуще. Картону оставалось лишь наблюдать за этим петляющим, дерганным следом и дожидаться, пока тошнотный узор не начнет превращаться в очертанья чьей-то фигуры. Раньше ли, позже, но перед мысленным взглядом мистера Картона вдруг появлялся портрет преступника, он же портрет преступления.

Вряд ли его привлекала подобная живопись, но работа - это работа, и Страйвер щедро платил за нее. А что тот крадет его имя, мистера Мемори не волновало. Он навидался людей, рядом с которыми его вороватый приятель (рехнулся, бедняга, на мысли о славе) был просто чудом порядочности. Люди изничтожали друг друга, сживали со света с таким упорством, так методично, словно в этом одном и заключался смысл их пребывания в мире. Смертоубийством могло закончиться все что угодно: чья-то удача, тяжба из-за клочка земли размером с цветочную клумбу, слух, которым побрезговал бы семилетний ребенок.

Мелочность и напряженность этой убийственной злобы Мемори-Картона не удивляли – он к ним привык. Кроме того, адвокату положено видеть изнанку вещей. Но странная мысль посещала его все чаще: людям как будто годился любой предлог, любая зацепка, лишь бы отречься, откреститься от жизни, неважно – чужой или собственной. Словно сама немудрящая жизнь человеческая была под запретом, была той уликой, которую нужно любой ценой скрыть, схоронить, уничтожить.

Бредовость подобной мысли была абсолютно ясна мистери Мемори – как и ее справедливость. Ненависть к жизни никак не могла быть законом и нормой, но она ими была. То, что Мемори-Картон видел ночами, сидя над грудой судебных бумаг (над мутью расползшихся, разложившихся человеческих судеб), каждый раз подтверждалось при свете дня, в зале суда. «Что тут делается?» - «За измену судить будут». - «Четвертовать, значит?» - «Ну да». Дальше следовало подробное описание процесса: «Сначала его

привезут на тележке и повесят, только не совсем; потом снимут с веревки и начнут резать на части, чтоб он сам это видел...»

Зал был переполнен, и Мемори-Картон, с трудом пробираясь к местам для судейских, вынужден был до конца прослушать этот топорный курс анатомии. Топорный без всяких кавычек, поскольку точку в нем ставил неподъемный, с рукоятью из граба топор палача.

Впрочем, подобные разговоры велись здесь постоянно. И дело, из-за которого зал был битком набит, было вполне заурядным: некий английский джентльмен обвинялся в связях с враждебной державой.

Само сочетание слов – «держава», «измена» - означало, практически без вариантов, те самые выше озвученные петлю и топор. Отбыть положенный срок, а потом напиться как следует – это все, чем адвокат в королевском суде мог быть полезен сегодня обществу и королю. И мистер Мемори задремал, в обычной своей манере: руки в карманах, взгляд в потолок. Он дремал и размышлял сквозь дремоту.

Мемори-Картон размышлял над головоломкой, от решения которой зависела судьба одного нестоящего, пропащего, в общем, субъекта. Зачем-то его занесло в мир, где разум был под запретом, а жалость считалась гнуснейшим из преступлений. Где зрелище недоповешенного, которому не спеша демонстрируют его внутренности, собирало толпы поклонников (некий знатный зевака из гущи такой толпы, только во Франции, деловито заметил: «Это так освежает!»)¹.

Что же с ним делать, с горемычным этим субъектом? Стоит ли вынуждать его снова и снова выгребать из тоски, удерживаясь на плаву в этом мире? Мистер Мемори-Картон был еще молод и крепок, и потому выпадали дни, когда он думал, что стоит. Но потом выходило – нет, ибо не было смысла. Он пил, опускался все ниже – даже в суде мог появиться навеселе и в разорванной мантии, вот как сегодня. Разумеется, он понимал, что погибает. Понимал, что и пальцем не шевельнет, чтобы проснуться, спастись. Для чего? Ради кого?

Но был ведь этот «кто-то». И Картон об этом знал, знал так же твердо, как месяц и год своего рожденья. Был кто-то печальный, живший в нем отдельной, недоступной его пониманию жизнью, знавший его страдание и запрещающий ему ненавидеть себя, уничтожать презреньем. В такие дни Мемори-Картон просыпался с колотящимся сердцем, со вкусом слез на губах.

...Мухи жужжали, солнце било в лицо обвиняемому (Картон не глядя чувствовал, как тот томится), время едва ползло. Наконец приступили к опросу свидетелей. Начали со шпиона на жалованье, заявившего прежде всего, что он здесь «исключительно из патриотизма». Второй господин, из той же обоймы, был наготове, но первый увлекся, и очнувшийся было Картон вновь задремал.

¹ Речь идет о Мари-Жане Эро де Сешелле, председателе Конвента в 1794 году

Сквозь дремоту он слышал, как дребезжал на скверной дороге ночной дилижанс и некто укутанный в плащ во всеуслышание бранил своего монарха и восхищался нравами при французском дворе. Тут один из пассажиров как раз собрался сойти, кучер зажег фонарь, и патриот хорошо разглядел негодяя. К счастью, с ним был еще один патриот, который и подтвердит точность его показаний. Но перед этим... а также...к тому же... Очнулся дремавший от дикого сердцебиения. Что происходит? Где он? В трех-пяти метрах от себя Картон услышал голос, который не мог здесь звучать. Ни здесь, ни где бы то ни было в мире. Голос из снов, тех самых, после которых он просыпался с мокрым лицом.

Принадлежал этот внятный, высокий, как у флейты, встревоженный голос подростку, как показалось мистери Мемори в первый момент. Но он ошибался. На возвышении, под перекрестьем тысяч взглядов, стояла девушка лет восемнадцати. Лоб между бровей разрезала морщинка. Густые бледно-золотые волосы сверкали, как от солнца, хотя оно переместилось в сторону и девушка оказалась в тени. Прокурор задавал ей вопросы, свидетельница – ее звали мисс Люси Манетт – отвечала.

Да, она видела подсудимого, на ночном пароходе, перевозившем ее с отцом через пролив. Мистер Дарней заметил, что отец болен, и предложил им отыскать на палубе другое место, посуше и поудобней. Было темно, моросило, она не вполне разглядела мистера Дарнея, но что он добр, очень добр, они с отцом поняли сразу (голос свидетельницы задрожал и пресекся). Упоминал ли их спутник о Франции? Она не может сказать. Недомоганье отца занимало все ее мысли, остальное память не сохранила.

При этом девушка ежесекундно переводила взгляд на того, кто стоял за решеткой. И Мемори-Картон как зачарованный глянул туда же (до сих пор он избегал смотреть на обреченного). Снова взглянул, по-другому: цепким, спокойным взглядом юриста. Затем набросал несколько слов и перебросил записку Страйверу. Тот прочитал, почему-то с испугом воззрился на Картон – и чрезвычайно вдруг оживился.

Он бы хотел устроить маленький эксперимент. «Никто не возражает? Отлично. В таком случае не мог бы глубокочтимый коллега Картон снять на минутку парик?» Глубокочтимый коллега, нисколько не удивившись, исполнил просьбу. «Теперь взгляните на подсудимого и на мистера Картон».

Зал онемел: член королевского суда и человек, стоявший за решеткой, были похожи, как близнецы. Телосложение, черты лица, осанка (вечно согбенный Картон выпрямился). Тут даже Страйвер примолк: сходство казалось невероятным, неправдоподобным. И оно немедленно, с ходу пошло в работу: на глазах изумленных зевак помост и тележка для смертников принялись отъезжать, отступать, отодвигаться от человека за деревянной решеткой. Патриоты-доносчики просчитались. Да и Страйвер, на лету перехвативший брошенный Картоном мяч, не подкачал. Не могли ли свидетели, вопрошал он громогласно, обознаться и перепутать в потемках двух пассажиров, похожих один на другого, как, скажем, коллега Картон и подсудимый? Можно ли

полагаться при этом на жидкий, секундный свет фонаря? Как они полагают, да или нет?

Патриоты-шпионы молчали, зал ликовал. Вот это зрелище! Век не забудешь! Вправду как братья! И никто не заметил, как побелела и сникла на своей скамье девушка с бледно-золотой головой. Приставы вынесли ее из духоты на воздух.

Но не одна мисс Манетт лишилась чувств в этом зале. Был здесь некто усталый, в порванной мантии, в съехавшем на сторону парике, переставший за эти часы сознавать, кто он и что он. Напрочь забывший о чьей-то бессмысленной, бесполезной жизни. Теперь это всё не имело значения. Тот бедолага, судьбу которого он всё решал и не мог решить, отмучился, кончился. Освободившееся место занял другой, как две капли воды похожий на Картона, но совершенно другой человек.

Чуть погодя этот другой застал себя среди людей, окружавших оправданного джентльмена. Здесь были Люси Манетт с отцом, доктором Манеттом, старая нянька Люси и старый друг их семьи, банкир мистер Лорри. Был, разумеется, Страйвер, доблестно утопающий в поздравленьях, были присяжные, еще какие-то лица – и он, близнец человека, которого спас. Слава Создателю, никто его не замечал, и настоящий виновник торжества мог без опаски смотреть и слушать. Смотреть по сторонам – и видеть повсюду мисс Манетт. Слушать – и различать в гуле мужских голосов нежный, незвонкий голос, тот самый, которым его душа говорила с ним все эти годы.

...И все же он нездоров. Слуховая ли это галлюцинация или что-то похуже – имя, пропетое голосом-флейтой? Произнесенное этим голосом вслух? Между тем мисс Люси Манетт смотрела именно на него, и мягкая, радостная улыбка предназначалась ему, не кому-то другому. Его благодарили: если б не вы, дорогой мистер Картон, не ваше сходство с мистером Дарнеем...

Он поклонился в ответ; говорить он не мог. Взять и вот так, при других, выговорить слова, которые немо стояли в сердце, как слезы стоят в открытых глазах? Дать им потечь, как слезам, этим словам об измученных и отпущенных на свободу? О не помилованных когда-то, а ныне помилованных?² Только не это. Картон вновь поклонился мисс Манетт и быстро, словно его окликнули, отошел.

Назавтра Страйвер отправился с визитом к доктору Манетту: красота его дочери расшевелила даже это величественное бревно. Картон напросился с ним – не понимая, как это он бросил вдруг Страйверу: «Подожди! Я с тобой». Но у Манеттов приняли их так сердечно, так просто, что страх, терзавший его всю дорогу, исчез, прежде чем Картон успел вспомнить о нем. Он держал в руках чашку превосходно заваренного чая, поглядывал на зелень за окном, прислушивался к разговору – и нереально легкое, как сон отплакавшегося ребенка, чувство овладевало им. Что оно значит, Картон не понимал: он много лет не придавал значения ни себе, ни своим чувствам.

² Лк, 4, 18; 2-е Петр. 2, 10

Зато мистер Мемори молниеносно нашел искомую формулу: *он, Сидни Картон, чувствовал себя живым.*

Ворчала-ворковала старая нянька Люси: не утрудилась бы ее птичка, ухаживая за гостями, - вдруг снова обморок? Почтенный мистер Лорри, старейший друг семьи, подтрунивал над нянькой, но и он украдкой вглядывался в Люси. Беседу поддерживал доктор Манетт, внимательный, неторопливый, вставлявший изредка слово-другое.

В этом доме гостей не теребили, никто не ждал от них любезностей и умностей, и успокоенный Картон мог без помехи прислушиваться и молчать. Зато уж Страйвер блистал всюду. Аудитория в лице мисс Манетт так распалила его, что он гремел и грохотал, как в суде, благо и здесь и там никого, кроме себя, не слышал.

Но вот что было странно – тишина из комнаты не уходила. Казалось даже, ее можно увидеть, как на картине, на групповом портрете: в лицах людей, расположившихся в скромной гостиной за чаем, в солнечном зайчике на рукаве синего платья мисс Люси, в празднично свежей листве за полузадернутой шторой...

Была такая старая-престарая головоломка – «Лабиринт английского короля». В одном из королевских парков был холм с двумя двухсотлетними дубами на вершине. Их опоясывала каменная скамья, и вид оттуда радовал сердце и прояснял разум. Но наслаждаться им могли только король и те, кому он доверил тайну этого места. Холм окружал сложнейший лабиринт аллей, забранных изгородями, и добраться до вершины мог лишь тот, кто от первого до последнего шага касался изгороди правой рукой.

Лабиринт был повсюду, лабиринт был в нем самом, и все-таки он вышел к холму. ...

Чье-то покашливанье вернуло Картона на землю. Сидевший рядом мистер Лорри с черепашьей медлительностью банкира и дотошностью холостяка излагал Люси собственный рецепт, а распаленный Страйвер клялся-божился, что все рецепты ничто и только один чай настоящий - из рук мисс Люси. Впрочем, надо и честь знать: завтра три дела сразу, и все три спорных, им с коллегой придется еще раз зарыться в бумаги...

Всю обратную дорогу Страйвер пилил приятеля и восхищался хозяйкой дома («Надо быть полным идиотом, чтобы молчать, как ты», «А крошка Люси... Не предложить ли ей стать миссис Страйвер?»). Картон не слышал ни слова. Он напряженно, как слабовидящий, всматривался во что-то, что невзначай, совершенно случайно открылось ему, но без чего всё выцветало и рассыпалось.

Пространство нетронуту прекрасной жизни, о которой он никогда ни от кого не слышал, от простоты которой щемило сердце, лежало перед ним. В центре пространства была девушка с бледно-золотыми волосами, с морщинкой боли на лбу. Но разглядеть ее как следует не удавалось. Она то появлялась, то исчезала, и наконец он понял, в чем дело: девушка эта была прозрачной, сквозь нее можно было увидеть небо. И если бы ее обезобразила болезнь, переменила до неузнаваемости, он всё равно бы знал, кто перед ним. Ведь он

был тот, кто чувствовал зло, а в Люси Манетт зла не было. Его проклятый дар сделался вдруг благословенным даром. Впервые в жизни Картон встречал существо, в котором не было ни лукавства, ни злобы (в чем в чем, а в этом он, специалист по скверне, отгадчик черных шарад, разбирался). Зла в Люси Манетт не было, но тайна в ней была. Ее страдание - там, на суде - навряд ли относилось к конкретному Чарльзу Дарнею (она его почти не знала и, встретить на улице, скорее всего прошла бы мимо). Это был ужас человека, который нечаянно обнаружил, что человечность недопустима. Боль Люси была страданием тех, кто не умел переступить через себя, не мог отречься от мысли, от жалости. Это была и его боль, его страдание. Но в нем оно скисло, прогоркло, сквасилось, превратилось в уксус и желчь, в невыносимую горечь. А в Люси боль была болью, и только. Была одним из чувств, волной среди волн.

Картон вспомнил Люси, порозовевшую от счастья, среди тех, кто толпился вокруг спасенного Дарнея. Вспомнил ее на суде – потрясенный взгляд человека, осознающего себя причастным к убийству. Нет, наивной она не была, хотя и не знала, какая это роскошь, какая дерзость – так доверяться радости, так принимать страдание. Откуда в Люси Манетт эта свобода? И Картон вновь увидел гостиную с полузадернутой шторой, солнечный блик, дрожащий на синем шелковом платье Люси, лица ее домашних - няньки, отца, мистера Лорри.

Что, собственно, происходило? Почему так легко дышалось в чужом, с запахом книг и лекарств докторском доме? Так блаженно просто молчалось? Незнакомые, в сущности, люди беседовали за чайным столом, обсуждали континентальные вести, беспокоились о юной хозяйке дома, упрасивали не хлопотать. Но ведь не это, не чаепитие с домашним печеньем там совершалось. Другое, как гул морского прибоя, доносилось до слуха. Другое солнце, не то, что за шторой, трогало нежным, горячим, немыслимо легким сиянием его сердце. И по тому, как оно онемело и пропустило такт, прежде чем маятник снова качнулся, Картон понял, что это было. Там...там любили. Люди, сидевшие за столом, любили Люси, а Люси любила их.

Слово, нечаянно произнесенное им про себя, сказалось само собой, без принуждения. Всё на свете отторгло его, а оно, как зерно в промерзлой земле, дождалось урочного часа. И теперь мистер Мемори знал, что оно означает, Господь свидетель знал.

Это начало любви Сидни Картона, мистера Мемори. История этой любви рассказана Диккенсом в романе «Повесть о двух городах», начатом в 1861 году и оконченном через три года. Диккенс долго бился с названием, прежде чем остановился на этом. Но среди тех, которые он отвергал одно за другим, дольше всех продержалось имя героя - «Мистер Мемори». Думаю, Диккенс сменил «Мистера Мемори» на безличное «Повесть о двух городах» не случайно. Может быть, он пытался спрятать как можно глубже личную тайну? Может быть, любовь мистера Мемори была и его любовью, а иначе он не рассказал бы о ней так, что невозможно забыть об этом.